

ПЕНТЕКОНТЕРА. В первом классе европейской школы мысли

М.К. Петров

Корабль — обжитая реалья, мелькающая в описаниях событий как само собой разумеющаяся составляющая. О мере этой обжитости и об отношении побережья к кораблю можно судить по стандартной форме эгейской вежливости, несколько раз встречающейся у Гомера:

Кто ж вы, скажите? Откуда к нам прибыли влажной дорогой?

Дело ль какое у вас? Иль без дела скитаетесь всюду,

Взад и вперед по морям, как добытчики вольные, мчатся,

Жизнью играя своей и беды приключая народам?

Во время редакционной работы над статьей из Ростова-на-Дону пришла весть, что Михаил Константинович Петров 11 апреля скончался. М.К. Петров (1923—1987) прожил трудную, но яркую жизнь. Разведчик во время войны, он был первопроходцем и в науке. Враг начетчиков, догматиков, карьеристов, приживал от философии, М.К. Петров был одним из первых, кто начинал исследование новых для советской философии областей — теории и социальной истории науки, науковедения, применения наукометрических методов в истории науки, культурологии. Долгие годы он работал в Ростовском государственном университете им. М.Н. Суслова. Михаил Константинович воспитал многочисленных учеников и последователей, всегда был окружен студентами, аспирантами, молодыми учеными, которое не забудут искрометности его таланта, щедрости ума. Понимая, что лучшая память об ученом — его труды, а Михаил Константинович оставил большое рукописное наследие, редакция предлагает один из них вниманию наших читателей.

Очерк о корнях происхождения “европейской школы мысли”. Его приводили как образец на семинарах Московского методологического кружка в 1970-х.

ПЕНТЕКОНТЕРА. В ПЕРВОМ КЛАССЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛЫ МЫСЛИ
М.К.ПЕТРОВ

Боги сии и свирепой вражды, и погибельной брани
 Верьвь, на взаимную прю, напрягли над народами оба,
 Крепкую вервь, неразрывную, многим сломившую
 ноги.
 (Илиада, XIII, 358—360)

Традиционное общество и “лишние люди”

Историю европейского типа культуры принято начинать с “греческого чуда”, и это единственный, пожалуй, вопрос, по которому нет разногласий: слишком уж глубокий и долговременный отпечаток наложило это событие-“начало” на весь ход развития европейской культуры. Но дальше начинаются уже “чудеса”— вряд ли можно собрать двух-трех специалистов, согласных в объяснении “греческого чуда”.

Мы будем исходить из предположения, что “греческое чудо”— это культурная революция со всеми сопровождающими ее изменениями образа жизни, системы ценностей, мировоззренческой ориентации. Что касается самих этих изменений, то они изучены достаточно хорошо, хотя и разделены по множеству дисциплинарных “портфелей”, исследованы в изоляции друг от друга. У философов это — переход от мифа к логосу, от мифологического мировоззрения к категориальному, “сказуемостному”. У правоведов это — переход обычая в закон-номос, в равенство свободных граждан перед единым законом. У искусствоведов это — раскрепощение знака, переход установленных ритуалом правил изображения в текучую форму канона, запрещающего повтор-плагиат. У психологов это — смена установки неприятия нового на высокую оценку нового, личного вклада, появление эпонимической характеристики — все значимые события нашей культуры имеют имена их творцов. У социологов это — переход ряда специализированных наследственных социальных ролей (правитель, воин, писарь) в навыки всеобщего распределения (гражданин, воин, грамотный). У лингвистов это — потеря слоговой письменности (письмо А и В) и восстановление-упрощение письменности на алфавитной основе, появление нормативных грамматик.

Этот список частных линий изменений и сдвигов можно продолжить: у большинства дисциплин обнаруживаются свое начало и представительство в античности. Но наша задача не в этом. Мы намерены показать, что за всем этим многообразием методов и сдвигов просматривается единая основа — появление и становление теоретического мышления как социально значимого навыка всеобщего распределения.

Утверждение “греческое чудо” — культурная революция” накладывает определенные методологические обязательства. Мы в этом отношении будем опираться на модель Т.Куна [2], которая требует различения “парадигмы” и “аномалии”, выделения области их несовместимости, возможных путей перестройки действующей парадигмы в новую. С другой стороны, тезис о решающей роли навыка теоретического мышления в перестройке культурной парадигмы требует особенно тщательного соблюдения материалистического, марксистского положения о том, что бытие определяет сознание, т.е. сама “аномалия”, несовместимая с прежним образом жизни, должна предстать как новая, но вместе с тем неустранимая, типичная, повторяющаяся, жизненно важная социальная ситуация, решение которой невозможно без активного участия навыка теоретического мышления и которая поэтому стимулирует становление и рост навыка теоретически мыслить.

Задача, понятно, сложная. В рамках статьи мы попытаемся наметить лишь узловые моменты подхода к ее решению.

Культурная парадигма, в которой жили греки бассейна Эгейского моря — эпицентра событий, принадлежала к “традиционному” типу культуры, основанному на земледелии и соответственно оседлости. Тот факт, что эгейская социальность была по исходу островной, тогда как большинство традиционных обществ континентально (Двуречье, Египет, Индия, Китай), не имел до поры до времени существенного значения: набор социальных институтов, способы их интеграции в социальную целостность, модели утилизации “лишних людей” у эгейской культуры те же самые, что и у ее соседей. Островной и прибрежный характер эгейского земледелия (в Эгейском море более 2500 островов) не препятствовал Криту быть центром эгейской государственности, вести дипломатическую переписку с Египтом и другими континентальными государствами, строить руками “лишних людей” пышные дворцы и храмы. До пирамид, китайских стен, ирригационных сооружений и других типичных для традиции способов утилизации “лишних людей” здесь, правда, не доходило: не те были возможности, да и не во всем была нужда (в ирригационных системах, например). Но в своей основе эгейская социальность была традиционным государством среди традиционных государств.

Если не считать моделей утилизации “лишних людей”, в которых общества традиционной культуры проявляют известное разнообразие (в Китае, скажем, мандаринат, подготовка административных кадров, был таким же институтом использования “лишних людей”, как

европейский университет, подготовка духовных кадров), то в своей обязательной “штатной” структуре общества традиционной культуры предельно единообразны.

Весь объем социально-необходимой деятельности рассеян традицией на человекообразные фрагменты-профессии, каждая из которых массова, институционально оформлена (каста, ремесло) и представлена на интеграционно-мировоззренческом уровне знаком бога-покровителя (Афина, Гефест, Гермес...), входящим в единство с другими профессионально различенными богами-покровителями, не по категориальной, а по кровно-родственной связи (семейство небожителей, рожденных, но бессмертных богов). Бог-покровитель нужен профессии для социализации нового знания, как дисциплине нужен журнал для той же цели: любая новинка в традиционном обществе сообщается профессиональному сообществу не через статью или монографию, а через миф. В Индии, например, и сегодня общества по распространению знаний используют для пропаганды новинок миф: “Рапсоды — весьма авторитетные каналы информации для жителей деревни,— замечают Е.Роджерс и Ф.Шумейкер.— Содержание их сообщений включает традиционные и религиозные элементы в смеси с современной технологией. Слышали, к примеру, как рапсод пел миф об удобрениях, рекомендуя их земледельцам, а также о числе тонн пшеницы, импортируемой в Индию” [3. 264].

Основным воспитательным институтом, механизмом социальной преемственности, уподобления входящих в жизнь поколений старшим выступает в традиционной культуре семья, обеспечивающая длительный неформальный контакт поколений, в котором младшие осваивают навыки старших, перенимают по наследству, без учебников, уроков, расписаний, распределений семейные права и обязанности. Поскольку же природа как-то не очень считается с человеческими потребностями и ценностями, а социальность всегда требует полного комплекса, заполнения всей структуры штатного расписания ролей-должностей, — семья суть естественный источник “дублеров”, “лишних людей”. Их нужно кормить, а ресурсы традиционной семьи весьма ограничены. Поэтому в обществах традиционной культуры, а до недавнего времени и европейской, существовали правила ограничения претендентов на дело отцов. Это не обязательно право первородства стран католической Европы, но смысл таких правил универсален: из многих или нескольких претендентов право продолжать дело отца, тянуть в будущее его права и обязанности, титулы, привилегии получает

один, обычно старший. Джульетта сколько угодно может сетовать: “Что имя? Роза бы иначе пахла, когда б ее иначе называли?” [4. 285]. Но факт остается фактом, по нормам традиционного общества и реликтам этой нормы в европейском обществе определителем “судьбы” человека, его профессии, статуса, прав, привилегий, обязанностей, возможных браков, “мезальянсов” является семья. Сегодня все мы — “лишние люди”: ни родители, ни тем более бабки и деды не в состоянии предсказать, что выйдет вот из этого — “от 2-го до 5-го”.

Семья профессионала образует в традиционном обществе и составляющую земной социальной интеграции: входит в межпрофессиональный наследственный контакт обмена продуктами и услугами, в который семьи разных профессиональных принадлежностей включаются по принципу человекоразмерности их продукта, поскольку, скажем, традиционное земледелие способно отчуждать 10—15% своего продукта, вынуждая тем самым все другие профессии укладываться в эту норму. Секта “наи” — парикмахеров, например, способна предлагать свои услуги значительно большему числу семей, чем семья другой кастовой принадлежности (кузнеца, плотника, земледельца), что создает в Индии и воспроизводит типичную для традиции “слоистую” структуру социальности. Общество стелется по территории: некоторое множество межпрофессиональных наследуемых семейных контактов, в которых совершается обмен продуктами и услугами, собрано здесь в иерархические целостности общин или “деревень” при ведущей роли земледельцев, тогда как связь общин в более емкие территориальные целостности идет на уровне профессии, участвующих в значительно большем числе контактов, чем семьи земледельцев (см. описание системы “джаджмани” [5. 99—166]).

Подобная структура привязки социальности к земле (земледелие) и сравнительно слабой интеграции ее на уровне межобщинных отношений дает описанный Марксом в “Капитале” эффект предельной устойчивости общин-деревень и неустойчивости на уровне их государственной интеграции: “Простота производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые постоянно воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова в том же самом месте, под тем же самым именем, объясняет тайну неизменности азиатских обществ, находящейся в столь резком контрасте с постоянным разрушением и новообразованием азиатских государств и быстрой сменой их династий. Структура основных экономических

элементов этого общества не затрагивается бурями, происходящими в облачной сфере политики” [1. 371].

Такова исходная парадигма жизни традиционного общества, частным вариантом которой была и эгейская социальность Критского государства XX—XV вв. до н. э. Мы не будем на ней специально останавливаться (Заинтересованные в этом могут обратиться к [5, 6], а также к [12, 13]), в рамках нашей статьи требуется кроме универсальной оптики традиционной интеграции уточнить только, что же именно способно стать аномалией, поставить под вопрос не только “облачную сферу политики”, но и “самодовлеющие общины”, нацелиться на святая святых традиционной социальности. И здесь нам главное внимание надобно уделить “лишним людям”, способу их утилизации и социализации.

Плавающий остров

Все традиционные общества умеют связывать энергию “лишних людей”, ставить ее на службу обществу (ирригация, мандаринат) или хотя бы нейтрализовать ее (пирамиды, стены, дворцы, храмы). В этом смысле пентеконтера — 50-весельный корабль, изобретение безвестного плотника, “человека Афины” — был по замыслу и первоначальной функции средством среди средств социализации “лишних людей”, обращения их энергии на пользу государству. Фукидид пишет: “Минос — самый древний из тех, о ком мы знаем по слухам, приобрел флот и на самом большом пространстве владел эллинским морем и Кикладскими островами: в большую часть этих островов он впервые вывел колонистов, изгнав карийцев и назначил правителями своих сыновей; понятно, что он искоренил также, поскольку это было в его силах, пиратство на море, предпочитая, чтобы их доходы получал он сам” [7. I, 4]. Геродот вносит в эту картину существенное для нас уточнение: “Не платили они... никогда дани, хотя и поставляли команду для кораблей всякий раз, когда требовал того Минос” [8. I, 171].

Переориентация на новый способ использования “лишних людей” косвенно подтверждается и археологами. По данным раскопок в Кноссе, Крит долгое время был административным и хозяйственным центром традиционной социальности в Эгейском море. Около 1700 г. до н. э. древнейшие и наиболее пышные дворцы были разрушены, на их месте появились дворцы поскромнее. Где-то в середине XV в. до н. э. началось ахейское вторжение, которое сопровождалось очередным разрушением дворцов. После Троянской войны — она, по Геродоту,

началась “через три поколения после смерти Миноса” [там же. VII, 171] — произошло дорийское вторжение, после которого дворцов уже не воздвигали.

Вновь Кносс напоминает о себе историку уже документально сохранившимся договором между Кноссом и Тилиссом (середина V в. до н. э.). Это уже полис среди полисов со своими эгейско-полисными интересами. Договор начинается так: “Тилиссиянину разрешается безнаказанно заниматься грабежом повсюду, кроме районов, принадлежащих городу кноссиян. Все, что мы захватим вместе у врагов, от всего этого при дележе пусть тилиссияне имеют: от захваченного на суше — третью часть, а от захваченного на море — половину” [9. 114]. И далее в 15 пунктах трактуются те же темы. Подобную трансформацию традиционных по началу форм жизни в нечто совсем, иное — “полисное”, пиратски агрессивное, но вместе с тем “равное перед” договором, законом-номосом — можно зафиксировать и на материале раскопок Трои, Пилоса, Микен. В культурных слоях под развалинами лачуг и хижин обнаруживаются все более пышные и грандиозные постройки, так что как бы высоко ни оценивали европейцы первые шаги эллинов от традиционной к европейской культуре, раскопки, документальные свидетельства, бытовые зарисовки Гомера и Гесиода определенно дают не картину торжественного шествия в светлое и новое будущее, а картину очевидной культурной катастрофы, всеобщей деградации и упадка. Сами эллины, за малыми исключениями, именно так и воспринимали новые формы жизни, в поисках идеалов социального устройства оглядывались в традиционное прошлое или находили их у своих традиционных соседей — в Египте, Двуречье, на худой конец в Спарте — в наиболее традиционном и, с европейской точки зрения, наиболее отсталом эллинском государстве.

Маркс отмечал эту особенность эллинского мировосприятия: “Поскольку в республике Платона разделение труда является основным принципом строения государства, она представляет собой лишь афинскую идеализацию египетского кастового строя; Египет и для других авторов, современников Платона, например Исократ, был образцом промышленной страны, он сохраняет это свое значение даже в глазах греков времен Римской империи” [1. 379].

То, что представляется европейскому глазу наиболее ценным вкладом эллинов в историю нашей культурной традиции — появление целостной личности, объединяющей в себе гражданина, воина, писаря, профессионала, — вовсе не представлялось самим эллинам великим

достижением. Полиен, например, с восторгом описывает традиционную по смыслу аргументацию спартанца Агесилая: “Союзники обвиняли лакедемонян: из нас, говорили они, многие участвуют в походах, а из лакедемонян — мало. Агесилай на равнине приказал сесть отдельно лакедемонянам, отдельно союзникам. Когда они расселись так, глашатай объявил: пусть встанут гончары; у союзников встало немало. Вторыми — кузнецы; встали многие; в-третьих — плотники; встало еще больше. Так вызывал он по порядку и остальных ремесленников, и занимающихся низкими работами, и без малого встали почти все союзники, из лакедемонян же ни один: им запрещено было заниматься низким ремеслом. Таким-то образом союзникам было показано, что лакедемоняне составляют большее количество воинов, чем союзники” [10. II, 1, 7].

Такое “трагическое” восприятие действительности нарушено, пожалуй, только Периклом: “Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве их... Мы живем свободной политической жизнью и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады хотя и безвредной, но все же удручающей другого” [7. II, 36—41]. Идиллия, конечно же, относительная. Перикл произнес эту речь над останками граждан-воинов, которые пали в первый год Пелопоннесской войны (431 г. до н. э.), война кончилась не в пользу афинян. Последовали смуты, тирания “тридцати”, что, однако, не подорвало доверия афинян к закону-номосу. В 403 г. до н. э. они постановили: “Неписанным законом властям не пользоваться ни в коем случае. Ни одному постановлению ни Совета, ни народа не иметь большей силы, чем закон” [11. 85].

Этот внешне малозаметный эпизод в истории Афин был, собственно, санкцией нового типа культуры, основанного не на обычае или наследовании профессиональных навыков, а на осознанной всеобщей номотетике, на власти слова и буквы, на логике понятий.

Но это уже далекие следствия того, что началось много раньше на палубе пентеконтеры, как только “лишние люди” осознали несовпадение своего собственного интереса с государственным, начали использовать корабль для прямой социализации методом “выбивания”: физического уничтожения “глав домов”, порабощения женщин и детей, оседания в

налаженном уже незадачливым предшественником хозяйстве на правах главы дома, “повелителя”. По Гомеру, под Троей было более тысячи кораблей [12. II, 485—759], из них ни одного собственно государственного. Сообщаются лишь местности набора гребцов-воинов, количество кораблей, имена предводителей. Диомед, скажем, привел 80 “черных судов” (пентеконтер), Нестор — 90 [там же. 560—568; 591—602]. Трудно сказать, насколько правдоподобны такие цифры, склонность Гомера к круглым цифрам общеизвестна, но вряд ли приходится сомневаться в том, что Гомер, во-первых, знал корабль и его принципиальные возможности (слишком много у него “стандартных” описаний корабля и нападений на побережье), и в том, во-вторых, что кораблей в гомеровской Греции было много.

Корабль — обжитая реалья, мелькающая в описаниях событий как само собой разумеющаяся составляющая. О мере этой обжитости и об отношении побережья к кораблю можно судить по стандартной форме эгейской вежливости, несколько раз встречающейся у Гомера:

Кто ж вы, скажите? Откуда к нам прибыли влажной дорогой?

Дело ль какое у вас? Иль без дела скитаетесь
всюду, Взад и вперед по морям, как
добычники вольные, мчась, Жизнью
играя своей и беды приключая народам?

[13. III, 71—74].

Разрушительную функцию в отношениях корабль — побережье хорошо понимали уже в античности. Изгнанный из Афин Ксенофонт писал для спартанцев: “Властителям моря можно делать то, что только иногда удастся властителям суши,— опустошать землю более сильных; именно можно подходить на кораблях туда, где или вовсе нет врагов, или где их немного, а если они приблизятся, можно сесть на корабли и уехать” [14. II, 4].

Эта разрушительная функция “плавающего острова” достойна специального анализа, но мы ограничимся лишь самыми общими соображениями. Все басилеи Гомера прошли корабельную выучку. Даже Нестор — “конник геренский”, герой явно “сухопутный” — в разговоре с Телемахом с умилением вспоминает о временах, “когда в кораблях, предводимые бодрым Пелидом, мы за добычей по темно-туманному морю гонялись” [13. III, 105—106]. Допустим, что набег на побережье разворачивается по модели Одиссея:

Ветер от стен Илиона привел нас ко граду киконов,
 Исмару; град мы разрушили, жителей всех истребили.
 Жен сохранивши и всяких сокровищ
 награвивши много, Стали добычу делить
 мы, чтоб каждый мог взять свой участок. [там же.
 IX, 39—42].

Набег, подобный описанному, может окончиться и неудачно. Но в общем-то сама возможность подобных событий, постоянно скрывающаяся за горизонтом, **неустрашимость угрозы** набега **должны были “воспитывать” побережье** и, поскольку за каждым земледельцем, плотником, гончаром воина не поставить, **переводить навык воина во всеобщее распределение**. В свою очередь рост обороноспособности побережья должен был обучать пиратов, совершенствовать их мастерство. Морской разбой, если он завершен оседанием “лишних людей”, **насыщает** острова и побережье **отборными кадрами** земледельцев и ремесленников, получивших профессиональную подготовку в семье, в контакте со старшими, и универсальную (пират, воин) на палубе корабля и в операциях “опустошения”.

И дело не только в этом. Если взглянуть на ситуацию “корабль — побережье” через оптику традиционной парадигмы, то сразу же обнаружится несостоятельность типичной для традиции слоистой структуры расселения, где каждый профессионал, исключая земледельца, волен выбирать собственное место жительства, сообразуясь с расселением семей-клиентов. В эгейских условиях угроза набега исключает такую возможность. Под ее давлением побережье вынуждено собирать в единый оборонительный кулак все, что можно собрать. И поскольку снять с места и сосредоточить нельзя только пашни, социальный статус земледельца резко падает, командовать начинают полис, ремесло. Земледелие признается вполне достойным занятием свободного, но и только. Если в Индии, например, плотник, кузнец, гончар идут к земледельцу, поддерживая его хозяйство в должном порядке, то теперь земледелец движется в полис. Соответственно разрушаются и межсемейные контакты обмена продуктами и услугами, место которых занимает рынок. Изобретение денег лишь завершает эту начатую кораблем работу.

Смещение основания интеграции общества с межпрофессионального семейного контакта обмена на обезличенный

рынок **сопровождается становлением нового основания интеграции**, которое объединяет граждан в делах защиты и, как мы видели (договор Кносса и Тилисса), нападения. Народное собрание, закон-номос, исполнение должностей по жребию фиксируют это равенство по единому основанию. **Граждан здесь выравнивают**, снимают с них иерархии традиционных статусов, кастовые различия, **общность судьбы, равенство перед опасностью, единая ответственность за принятые решения.**

Мы не будем упоминать о других линиях глубинного, не “в облачной сфере политики”, воздействия корабля на образ жизни побережья. Главное здесь в том, что континентальное традиционное государство способно маневрировать своими ресурсами, поддерживать власть и порядок: держать воинов на границах или в опасных местах, государственных чиновников — в городах, обеспечивая за счет неравномерности территориального распределения профессий сравнительно мирные условия для деятельности основных производящих профессий. Корабль исключил возможность такого маневра, ввел власть на местах, сделал социальность Эгейского моря сплошь “пограничной”, т.е. **вынудил идти на совмещение профессий, на перевод ряда профессий во всеобщее распределение.**

Палуба

При всей значимости революционных изменений, вносимых многовесельным кораблем в образ жизни побережья, **как только он становится средством социализации “лишних людей”**, корабль, набег, пиратство, **морской грабеж суть специфическая форма коллективной деятельности**, которая не числится в обязательной номенклатуре традиционных обществ. “Антисоциальные” виды деятельности известны и в традиционном обществе (в Индии, например, есть каста душителей со своей богиней-покровительницей: “Однажды Кали в образе устрашающей богини Бхавайи собрала своих почитателей, отметила самых верных — тхагов, наделила их необычной силой и коварством, научила душить жертвы платком и разослала по свету” [6. 398]), но здесь эти виды вписаны в общую картину, не становятся средствами социализации “лишних людей”. Иначе обстоит дело с кораблем.

Корабль, а вслед за ним и под давлением корабля некоторые другие навыки всеобщего распределения (гражданин, воин) — **универсализирующая надпрофессиональная образовательная вставка со своими особыми правилами и методами обучения, основанными уже**

не на подражании действиям старших, а на общении, на оперативном кодировании действия в знак и столь же оперативном декодировании знака в деятельность, на навыках повелевать и повиноваться. Оба эти навыка, образующие хорошо известный историкам расчлененный комплекс “слово — дело” с приматом слова и подчиненным положением дела, в равной степени важны для достижения результата.

Нам, давно освоившим эти навыки, они представляются простой и привычной нормой. Но простота эта обманчива. Оба навыка требуют специфических форм мышления, умозрения и соответствующих средств общения, восприятия, психологических установок, которыми традиция не обладает не потому, что люди не способны их освоить, а потому, что у традиции нет повода для их освоения и широкого применения, нет навыков, требующих развития этих способностей. Японские летчики, например, летают ничуть не хуже американских, но вот во время [второй мировой] войны выяснилось, что японский язык с его обилием форм вежливости попросту непригоден для оперативного общения экипажей; пришлось менять язык команд на английский. Аналогичные явления наблюдаются сегодня в университетах развивающихся стран, в большинстве своем принадлежащих к традиционному очагу культуры. Их родные языки, прекрасно обеспечивающие общение в традиционных ситуациях неторопливых вежливых бесед с учетом социальных, статусов собеседников, оказываются слишком громоздкими и недостаточно точными, ясными и краткими для целей научного общения

(В университете Кабула, например, до недавнего времени естественные науки преподавались на немецком языке, медицина и фармакология — на французском, инженерный и сельскохозяйственный факультеты велись на английском [15. 65]. Г.Биарз, описывая опыт работы в Индонезии (о-в Ява), отмечает: “Никому из нас не удалось проникнуть в мистику индонезийских объяснений. Вряд ли вообще взрослый, если он не индонезиец по рождению, способен войти в контакт с этими системами”. Общение индонезийских университетских коллег несет, по Биарзу, кроме функции коммуникации функцию оценки речевой ситуации, что делает его “скорее тонким искусством, чем простым обменом информацией” [16. 35—36].)

Мы и сами сегодня все более глубоко увязаем в проблемах комплекса “слово — дело”, в котором один (человек, элемент системы) “разумно движет, оставаясь неподвижным”, а все остальные (люди, элементы системы) “разумно движутся, оставаясь неразумными”. Кибернетика, теория систем, моделирование, исследование операций,

системный анализ, теория игр, теория принятия решений, теория автоматов — все они, используя различные концептуально-понятийные аппараты, пытаются разрешить **проблемы этого комплекса однозначной связи знака и поведения**, которые впервые в эксплицитной форме **были поставлены перед человечеством на палубе пиратского корабля в Эгейском море в виде отношений людей, формализации задач и путей к их решению, реализации замысла.**

Имплицитно проблемы однозначной связи слова и дела, знака и поведения существовали всегда. **Общества любых культурных типов вынуждены фрагментировать социально необходимую деятельность в некоторое множество различных человекообразных программ, кодировать людей в виды деятельности с помощью знака, а не гена.** Человек в этом смысле существо генетически несостоятельное, неспособное, подобно пчелам, муравьям, термитам, кодировать индивидов в матрицу различных видов деятельности средствами биокода. **Но механизмы знакового кодирования**, особенно когда речь идет о традиционном обществе, **скрыты глубоко в подкорке сознания**. Объяснить существо своего навыка, перевести навык в логику понятий плотнику, гончару, земледельцу ничуть не проще, чем каждому из нас связно рассказать, как мы ходим, пишем, говорим. **Этого просто не требуется, если навык освоен и передается новым поколениям методами подражания, по принципу “делай как я”.** Задумчивость здесь вредна, ведет к сбоям.

На палубе многовесельного корабля, в актах его взаимодействия с побережьем совершенно иное положение. Здесь одному (носителю слова, капитану, повелителю) постоянно приходится контролировать ситуацию как целостность, “держат ее в уме”, ставить в умозрении и решать задачи, оценивать варианты решения по множеству критериев, принимать решения, фрагментировать программу коллективного действия в подпрограммы для исполнителей подпрограммы, распределять подпрограммы по исполнителям с учетом особенностей каждого. От остальных же требуется навык беспрекословного повиновения, понимания с полуслова замысла повелителя, своей особой цели, своего особого маневра в целостном действии группы, однозначного и оперативного декодирования в действие того, что содержится в словах повелителя.

Это не текучка будней бюрократического типа, которая складывает устойчивые штампы групповой деятельности и распределения подпрограмм по исполнителям, позволяет забывать о целостности

общего дела, пока она не нарушена. Ситуация набега, акты взаимодействия корабля и побережья уникальны, текучи, насыщены неожиданными для сторон ходами и контрходами, запрещающими повторяться в методах и способах достижения цели. Штамп, повтор здесь опасны. И **ситуация как целостность выступает здесь предметом постоянного внимания, дополнений, корректив, переделок.** У хитроумного Одиссея, например, невозможно обнаружить некий инвариант действий. Каждый раз у него своя особая “теория” ситуации, своя особая “система”, организованная в умозрении конечной целью, производно от состава группы, наличных средств. Одно для кикон, другое для циклопа, третье для женихов Пенелопы, четвертое для неверных рабов и рабынь. “Инвариант” здесь лишь один — **целостное, мысленно проигранное в умозрении, оцененное по вариантам исхода представление ситуации.**

У Гомера мы застаем **этот навык умозрительных операций со знаками** в становлении. Он еще только-только осваивается, труден для объяснения, смешан с традиционным мифом. Гомеру постоянно приходится **излагать события в двух планах: на уровне слова и на уровне дела**, причем описания эти, соединенные связками типа “его повинуюся слову”, почти всегда совпадают дословно.

(Одиссей, замыслив “совокупно с Афиной” смерть женихам [13. XIX, 2], дает Евмею и Филойтию указания о том, как следует поступить с предателем Меланфием [там же. XXII, 171—177]; “то повеление царское было исполнено скоро” [там же. 178]. Далее идет описание события, дословно повторяющее указание Одиссея [там же. 179—193]. И таких мест у Гомера много.)

Но эти два плана, разделение слова и дела, примат слова выдерживаются Гомером неукоснительно. Путаницы планов и оценок здесь не возникает: слово всегда право; дело, как только оно начинает своеволичать, выходить из повиновения слову,— источник всех бед. Вот неудача с теми же киконами. Оценив обстановку, Одиссей настаивает, “чтоб немедля стопою поспешною в бегство все обратились; но добрый совет мой отвергли безумцы; полные хмеля, они пировали на бреге песчаном” [13. IX, 43—451. Результат: “...с каждого я корабля по шести броненосцев отважных тут потерял” [там же. 60—61]. И так постоянно. За каждой неудачей стоит своеволие дела, его неподчинение слову. Даже прощенное своеволие дела Гомер наказывает самым суровым образом от имени богов. В случае с Еврилохом, например, которому Одиссей простил грех неповиновения [там же. X, 260—275],

все оборачивается катастрофой. Тот же Еврилох подбивает спутников Одиссея убить быков Гелиоса [там же. XII, 339—365], и все, кроме Одиссея, гибнут от руки Зевса [там же. XII, 405—420].

Можно ли палубную ситуацию, где 50 или 100 волей (были и 100-весельные корабли), способностей мыслить, принимать решения отчуждены в голову повелителя, а физические потенции повелителя многократно усилены исполнителями, **рассматривать и как начало и как естественный тренажер навыков теоретического мышления?** На наш взгляд, можно. Дело-то ведь не только в уважении к прошлому, не в чистом интересе к великому культурному событию, которое изменило мировоззренческие ориентиры, надолго задало вектор или, если угодно, “место точек” возможных мировоззренческих синтезов и область логико-категориальных средств их реализации: “Сколькими способами сказывается, столькими способами и означает себя бытие” [17. 1017b]. Нус Анаксагора, демиург Платона, перводвижитель Аристотеля, пишущий Книгу природы посленикейский Бог христианства, отрешенный от дел мира сего Бог кальвинистов — все это варианты повелителя, пересаженного с палубы пиратского корабля на небо, но не теряющего в таких перемещениях монопольного права представлять слово во вселенском комплексе “слово — дело”. Но суть и в том также, что **мы сегодня явно теряем способность критически отнестись к возможностям теоретического мышления, пытаемся по инерции взвалить на теоретическое мышление явно непосильные для него задачи**, упорно продолжаем искать всесильный “язык Адама”, который обеспечивал бы нам и власть над природой, и единство знания о природе.

(Э.Ласло, последователь и продолжатель идей теории систем Л. фон Берталанфи, пытаясь проинтегрировать мир по основанию систем, вынужден вводить и принимать на веру четыре постулата — два основных и два дополнительных: а) мир существует; б) мир хотя бы в некоторых отношениях разумно упорядочен (открыт для рационального познания); в) мир разумно упорядочен в отдельных областях; г) мир разумно упорядочен как целое [18. 162].)

Нетрудно понять, что за тремя последними постулатами должна скрываться самостная надчеловеческая сущность очередного палубного повелителя, на этот раз знатока теории систем.)

В этих современных условиях обращение к началу, к палубе пиратского корабля даст, по нашему мнению, возможность критически оценить современную ситуацию.

Палубная ситуация, как она представлена у Гомера, в какой-то степени закрыта для европейского понимания мифом, традиционным способом мысли, который вынуждает богов-покровителей участвовать в деятельности профессионалов, особенно профессионалов-новаторов. Но, с одной стороны, строгое традиционное распределение по “портфелям” власти и ответственности богов-покровителей у Гомера уже в достаточной степени нарушено, и боги у него вовлекаются в явно непрофессиональные ситуации.

(Естественная покровительница плотника Одиссея Афина помогает ему во множестве ситуаций, не имеющих отношения к профессии. Например, в беге-соревновании с Аяксом и Антилохом Одиссей едва не упускает победы. Тогда он обращается к Афине: “Дочь Эгиоха, услышь! Убыстри, милосердая, ноги!” И Афина тут же перевертывает ситуацию в пользу Одиссея: “Вдруг на бегу поскользнулся Аякс: повредила Афина — в влажный ступил он помет, из волов убиенных разлитый” [12. XXIII, 770—775].)

С другой стороны, историку приходится постоянно помнить о тезаурусе эпохи. У Гомера не было других опор для объяснений; он объяснялся на языке мифа с той же естественностью, с какой реформаторы и революционеры XVII в., восставая против “языческой схоластики” католической церкви и требуя ее замены в функции учебника истинно христианской Книгой природы, вынуждены были говорить на языке теологии.

(Бэкон, например, так объяснял общие цели и задачи великого восстановления: “Ведь человечество направляет все свои силы на то, чтобы восстановить и вернуть себе то благословенное состояние, которого оно лишилось по своей вине. И против первого, главного проклятия — бесплодия земли („в поте лица своего будете добывать хлеб свой“) оно вооружается всеми остальными науками. Против же второго проклятия — смешения языков оно зовет на помощь грамматику” [19. 333].)

Но за этой мифологической тезаурусной дымкой совершенно четко просматриваются в становлении и утверждении основные черты теоретического мышления, в том числе и те, которые нами сегодня воспринимаются как исключая вопросы и сомнения данность, как

“таблица умножения” теоретической мысли. **Уже и для корабельной палубы характерно присутствие основных черт теоретизирования: единство апперцепции, целостность, отсутствие противоречия, полнота.** Но характерно и другое — неустранимое присутствие одного, повелителя, субъекта теоретизирования, что **не позволяет оторвать теоретизирование от субъекта, отвлечь процесс теоретического мышления в некую обезличенную, независимую от теоретика область.**

Палуба пиратского корабля, где всегда один и только один повелитель, субъект мышления группы, не позволяет отвлечься от человекообразности как существенной черты теоретического мышления. При всех условиях отчуждение воли, способностей мыслить, принимать решения любой группой исполнителей в голову одного наталкивалось и будет наталкиваться на ментальную вместимость головы человека как существа естественного. У пиратов Эгейского моря и их повелителей не было компьютеров, им приходилось обходиться естественными возможностями человека. **И в этом смысле исходным назначением теоретического мышления, о чем мы основательно забыли, было сведение нечелокообразного многообразия и нечелокообразной пестроты окружения в человекообразную, интегрированную цель, проигранную в умпостижении целостности проблему, допускающую решение наличными человекообразными средствами.**

* * *

Это главное, все остальное производно. Палубная ситуация принадлежит к классу задач, которые мы сегодня решаем повседневно. Генерализирующая множество частных случаев гипотеза, учебник, сводящий в человекообразное единство великое нечелокообразное разнообразие накопленных дисциплиной результатов, новая теория, приводящая к непротиворечивому единству апперцепции сумму накопленных дисциплиной фактов и аномалию, — все это содержит в инварианте человекообразную палубу корабля или, попросту говоря, тот неустранимый из человеческого познания факт, что мыслит человеческий мозг, человеческая голова, а не поголовье, мыслят люди, а не институты, что любые наши попытки объять необъятное оказываются в конечном счете объятиями человеческими, схватывающими нечелокообразное окружение лишь постольку, поскольку оно позволяет ухватить себя человекообразными средствами. В понимании человекообразности теоретизирования, в наличии эксплицитных выявлений неотделимости теории от теоретика

мы и видим основной повод обращения к началу, к далеким событиям в бассейне Эгейского моря, на палубах пиратских кораблей в их контактах с побережьем, к тому исходному состоянию теоретического мышления, когда не была еще затвержена в первых классах общеобразовательной школы его “таблица умножения”.

Литература

1. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23.
2. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
3. Rogers E. M., Shoemaker C.F. Communication of Innovations. A Cross-Cultural Approach. N.Y., 1971.
4. Шекспир В. Полн. собр. соч. Т.2. М., 1937.
5. Кудрявцев М.К. Община и каста в Хиндустане. М., 1971.
6. Боги, брахманы, люди. М., 1969.
7. Фукидид. История.
8. Геродот. История в девяти книгах.
9. Хрестоматия по истории Древней Греции. М., 1964.
10. Полиен. Военные хитрости.
11. Андокид. О мистериях.
12. Гомер. Илиада / Пер. Гнедича Н.И.
13. Гомер. Одиссея / Пер. Жуковского В.А.
14. Ксенофонт. Афинская полития.
15. Rahman A. Trimurti: Science, Technology and Society. New Delhi, 1972.
16. Beers H.W. An American Experience in Indonesia. Lexington, Kentucky, 1971.
17. Аристотель. Метафизика.

18. Lilienfeld R. The Rise of Systems Theory: An Ideological Analysis. N.Y., 1978.
19. Бэкон Ф. Соч. Т.1. М., 1971.